

«И стал Ташкент»

Предисловие

«Ах, вы из Ташкента! — говорят обычно. — Как же, как же... был там в командировках. Помню Алайский — шикарный базар: и покушать, и закупиться. Знаете, поездил я по Союзу всяко, видал разные базары, но Алайский — да, место особенное...»

Или: «О-о-о! Ташкент?! Я там у родственников однажды каникулы провела, — уютный был город, зеленый такой... Мало что сейчас помню, но базар там у вас... главный, огромный... Алайский, кажется? Правильно? Ну, это целая страна! Это как бы другая планета — изобильная ароматами, яркая, цветная, дружественная...»

В крайнем случае, так: «Ташкент? Это где тряхануло в 66-м, да? Мой дядька строитель, он был в тех бригадах, которые за считанные месяцы возвели совсем новый город. Ну, и как — вам нравилось там жить?»

Не знаю... Сколько себя помню — стремилась «бежать из азиатчины». Когда впервые побывала в Таллине, уверила себя, что я — человек «европейских предпочтений», что мне нравится, именно нравится, когда люди мимо меня проходят с нейтральными лицами, а не пялятся, не лыбятся и не лезут «по-соседски» в мои дела.

Кстати, в Таллин я попала потому, что однажды познакомилась с эстонской журналисткой Надеждой Маевской. Она оказалась в Ташкенте в командировке, в то время уже читала мои рассказы в журнале «Юность» и захотела взять

6 у меня интервью для своей газеты. Проблема была только в том, что она не знала моего адреса. Но понадеялась на свою журналистскую напористость. И не ошиблась: дежурная по этажу в гостинице «Зерафшан», где Надежда поселилась, на вопрос обо мне радостно сообщила, что в детстве пела со мной в хоре музыкальной школы. «Дина живет на Чиланзаре, — подсказала она. — Садитесь в трамвай — во-он остановка через дорогу. Выходите возле Торгового центра. Там и спросите».

— Кого спрошу? — удивилась Надежда. — Там вообще, в этом районе, сколько жителей?

— Тысяч сто, — безмятежно ответила та. — Вы спросите, вам подскажут...

И Надежда, особа рискованная, вместо того, чтобы отложить дурацкую идею: разыскивать человека без адреса в стотысячном жилом районе, села в трамвай и поехала до Торгового центра. В трамвае она решила спрашивать людей, — журналистка все же, человек по профессии общительный, — и громко спросила, что называется, в воздух, — не знает ли кто, где живет такая-то... Откликнулся с третьего ряда пожилой господин, который оказался преподавателем истории и коллегой моей мамы.

«Поезжайте до микрорайона Шестой квартал, остановка «Магазин «Синтетика», — подсказал он. — Номера их дома я не знаю, но просто спросите первого встречного юношу или девушку — это наверняка будут ученики Риты Александровны, Дининой мамы.

И знаете — что? Она так и поступила, и буквально первая же встреченная молодая женщина улыбнулась и охотно стала показывать: «Перейдите дорогу, дойдите до углового дома. Там направо метров сто вдоль арыка — пятый от дороги кирпичный дом. Квартиру не помню, соседей спросите...»

И Надежда, бывалая авантюристка, так и дошла до нашего подъезда и обратилась к трем бабкам на лавочке с сакраментальным вопросом.

«Квартира пять, этаж второй, но лучше посидите с нами — дома там сейчас никого. Рита Александровна на занятиях, Илья Давидович в институте на развеске студенческой выставки, Димка в школе. А Дина — на собрании в Союзе писателей.

И потрясенная Надежда, прожившая в Эстонии чуть ли не всю свою жизнь, опустилась на лавочку и стала меня ждать. А когда за чаем рассказывала мне историю моего разыскания, по ее мнению, потрясающую, уникальную... я только плечами пожала: «Ничего уникального. Это же Ташкент...».

Так вот, не желала я быть на виду у всего города! Мне нравилась европейская холодноватая отстраненность, закрытость частной жизни. Отсутствие развесистых южных сплетен, наконец!

Родившись в Ташкенте и прожив в нем 30 лет своей жизни, в 1984 году я переехала наконец в намечтанную Москву, в ту самую холодноватую — бр-р-р! — отстраненность от соседей, прохожих, едва знакомых и незнакомых людей, в закрытость частной жизни — до такой степени, что ты можешь загнуться от гриппа в собственной квартире, и никто из соседей не узнает об этом...

Я получила свою «В Москву, в Москву!» сполна, под завязку, по самое не могу и не хочу.

Часто вспоминала нашу соседку Фаину Ефимовну. Когда та пекла пирог, мы ели его всем подъездом. Звонят в дверь: на пороге Фаина Ефимовна. В руке — тарелочка, на ней — вырезная салфеточка, на салфетке — кусок пирога.

На старости лет сын перевез ее в Москву. Поселилась она в девятиэтажном типовом жилом доме где-то на Звездном бульваре. Испекла по своему обыкновению большой пирог, разрешила на нужное количество долей — по числу квартир, — и пошла по этажам. Звонит в дверь, ей открывают, она с улыбкой протягивает тарелочку, на тарелке — вы-

8 резная салфеточка, на салфетке — кусочек пирога. Соседи молча недоуменно глазели на нее, пытались понять: что этой чокнутой бабке нужно?

Тогда, в середине восьмидесятых, Ташкент стал постепенно возвращаться ко мне — издали, теплым приветом... я стала ловить себя на том, что на рынке задерживаюсь у рядов с корейской морковкой и капусткой, чтобы просто поговорить с девушкой-корейкой. Как и все ташкентские корейцы, та говорила на чистом правильном русском языке.

А еще я вернулась к давним запискам — в них был Ташкент и его люди, — а кто еще мог быть там в то время? Это были беглые записи о соседке Любе, художнице, полусироте, которая враждовала с матерью. Это были записки о чем угодно, обо всем, что тебя окружает и что интересует, — так пишут только молодые, выщипывая вокруг всю травку впечатлений и чувств — за неимением опыта, мастерства и иной судьбы...

Так вот, я вернулась к этим запискам и стала добавлять в них... еще не сюжетные повороты, а просто какие-то мысли, какие-то ташкентские картинки, которые вспоминала. Я добавляла в них Ташкент, по которому скучала. Много Ташкента. Полно и до отвалу Ташкента: его солнца, его южной эксцентричности, его нахальства и душевной распахнутости...

Так оно и тянулось из года в год, постепенно накапливаясь, зрея, расширяясь в блокноте, но и в душе, и в воображении тоже. Появились в этих записках какие-то люди, вовсе не бывавшие ни моими соседями, ни друзьями. Целый человеческий муравейник. Но их всех, рожденных моим воображением, объединяло одно: они были ташкентцами. Собственно, они и были — Ташкентом.

А в 90-м году прошлого века случился тотальный обвал жизни. Это был обвал Союза, который мы решили покинуть, обвал собственных биографий — творческих

и личностных; тяжкая доля эмигрантов, медленное и мучительное вращение в иную культуру и иной язык. Это было перемещение в направлении противоположном — снова Восток, хотя и другой Восток, со своими мифами и миражами.

Вновь на меня нахлынуло тепло, солнечная лавина, летнее пекло, громокипящие воплями базары. Вновь я оказалась в той человеческой и природной температуре воздуха и чувств, откуда произрастали мои детские привязанности и впечатления.

И я вернулась к своим запискам о Ташкенте, которые к тому времени уже обросли какими-то начатками сюжета, уже перекликались с моей личной жизнью и моими собственными мыслями. Я поняла, что это — книга, это — роман, и я там полноценный персонаж, я ведь выросла в нем, в этом романе; в этом городе. И затем целый год — 2006-й, — буквально не отрываясь от стола, я одержимо писала эту книгу.

* * *

Нет ничего проще, чем писать о родном городе — тут уж не только память сердца, зрения и обоняния, память времени тебе в подмогу... Тут память собственных ног, избегавших его улицы и тупики-переулки, диктуют тебе нужный ритм фразы. А ритмы тебе — изначально обреченной на музыку, но судьбой расконвоированной в писатели, — всегда были очень важны. Город детства — солнечный, алычовый Сад Радостей Земных — возникал ритмичными аккордами, пассажами, затейливой мелодией узбекских макомов.

Нет ничего труднее, чем писать о родном городе: ты рискуешь просто сгнуть в завалах памяти и чувств, пропасть под завалами любви и дружб, перепутать названия улиц и переулков — тем более что их лет тридцать как переименовали.

Ну, довольно, говорила я себе: пора привыкнуть к тому, что твоего города больше не существует. Вернее, он суще-

10 ствует, и всегда будет существовать именно в том романе, который ты начала писать так давно, что и сама не отдавала себе в том отчета.

Главный герой книги «На солнечной стороне улицы» — сам Город, Голем романа... Я лишь вдувала жизнь в его глиняные дувалы, чтобы он встал перед нами — очарованный, шумный, яркий, столпотворимый. Я лишь рассадила по сюжету населяющие его существа, а их чувства и изреченные мысли придумала по возможности правдиво, чтобы обрели они плоть и пот; чтобы писательских приемчиков и ниточек, этих «набоковских домовых», которые, как известно, живут в тексте и прядут прозу, не удалось углядеть. Чтобы, просто-напросто, вчитавшись (а это ведь род заклинаний!), ты попадал в Город и начинал там жить...

Не помню, кто и где заметил когда-то: «Зоркость — редко дар радости».

Мне хотелось, чтобы на поверхности этого романа необходимым миражом присутствовал причудливый сюжет — его арки и арьки, дворы и базары, кентавры и ангелы, святые и злодеи; чтобы витал над ним абсурдный азиатский быт, незыблемый в своей безумности, крутящий вверх ногами печальное черно-белое кино. Чтобы описанный, воссозданный мною, воплощенный в картинах моей героини Веры Город-роман полнился Вавилонско-Брейгелевским многоголосьем, баянился, строился, тянулся ввысь — возникал воочью.

Чтобы в этом романе, на котором лежит солнечная печать моего детства, навечно поселилось сладостное прошлое: «И стал Ташкент»...

Дина Рубина

НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ
УЛИЦЫ

РОМАН

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... — нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.

Франц Кафка.

Письма к фройляйн Минце Э.

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж — дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и — сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит:

14 «Вспомни-ка школу Успенского», — я не помню, не помню, не помню!

...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю:

— ...В Ташкент?..

1

Из долгой, с ветерком, гастролы мать нагрянула неожиданно и, вызнав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны — убивать так убивать! — и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силась подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился — подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», — говорила мать, убийца окаянная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и, когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посерединке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом.

Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни? 15

* * *

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» — подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус — холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды — следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустила на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

— Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее, после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играет сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. Мать между тем оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

— Все малюешь... Я в твои годы горбила всюю.

— А, здравствуй, мама! — словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. — В мои годы ты всюю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? — стоит, жердь тощая, старая майка краской